

МАРТА КЕТРО



НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ

Счастье начинается, когда сердце разбито и готово к любви

Легенда русского Интернета

Марта Кетро

Нервные окончания

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кетро М.

Нервные окончания / М. Кетро — «Издательство АСТ»,
2021 — (Легенда русского Интернета)

ISBN 978-5-17-136798-5

Перед вами сборник очень разных рассказов, которые объединяет одно – неожиданные финалы. Как будто вы оказываетесь в хороводе женщин – смеющихся, плачущих, влюблённых, – каждая из которых способна измениться на глазах, превратиться то в лису, то в птичку, то в кошку, ускользнуть, улететь, оставив после себя только воспоминание и поцелуй. Позвольте себя закружить и увлечь, проживите вместе с этой книгой несколько жизней – непохожих, нежных, загадочных, но имеющих общую черту: в каждой из них обязательно будет любовь.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-136798-5

© Кетро М., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Перечитай	6
Ведьма	10
Московская фиалка	14
Сиреневое платье Оленьки	19
«Добра ли вы честь?»	21
Щенок	24
Мустангер	27
Конфетки из «Эдема»	31
Коктейль «Русская любовница»	33
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Марта Кетро

Нервные окончания

© М. Кетро, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Перечитай

Беда, беда у госпожи: её красоту слизали кошки.

Поздно искать виновного и наказывать некого: к домашним она была строга, но мило-сердна, а кошки, божьи души, что с них взять. Кто это сделал – полосатая Александрин, чёрная Мицуко, белолопая Фелисити, рыжий Васья или все вместе вылакали ради круговой поруки? А кто оставил блюдечко с красотой на ночь у зеркала? Бестолковая Таша недоглядела или безупречная Наталия вдруг совершила роковую ошибку? Могла бы вызнаться, но теперь неважно. Важно лишь то, что её красоты, которая десятилетиями не меркла, лишь переливаясь от времени перламутром, не стало. Проснулась утром, а будто свет погасили, и ни одна баночка не помогает.

Что по этому поводу думала госпожа объяснять не надо, а близкие всякое говорили.

Супруг госпожи отшатнулся, и хотел было осенить себя жестом, отгоняющим злых духов. Но быстро опомнился, присмотрелся и привык. Жизни-то вместе сколько прошло – годы! Тем более, половина имущества на жену записана. Надо принимать родного человека как есть.

Мать госпожи пожалала плечами: ничего не поделаешь, зато наша красота продолжается в юных дочерях. «У меня мальчики, – сердито ответила госпожа. – И они уже лысеют».

Дети госпожи обрадовались: ну наконец-то. «Хочешь, мы тебе дачу купим? Будешь там выращивать укроп – он живучий, и за Кристиночкой с Вадиком на каникулах присмотришь». Госпожа было взяла внука на руки, а он заревел. «Он у нас такой, – сказал сын, – любит девушек молоденьких, от тётенок плачет. Но привыкнет, ничего».

Подруги госпожи велели не думать ерунды – с возрастом только краше и значительнее становишься, теперь настоящая зрелая женщина, с большой внутренней силой и уверенностью в себе. «Это не уверенность, а второй подбородок», – ответила госпожа. Как быть, если лицо её не из тех, что высекают из мрамора – на них время только углубляет линии, не размывая черт. Её красота была лёгкая, как песенка, и трепетная, будто крыло бабочки. Отзвучала, улетела. Сдул ветер серебряную пыльцу, и лицо стёрлось, не разглядишь – не запомнишь.

Мудрецы давали советы, но все ужасные. Один сказал, если кошки съели, красота теперь в их испражнениях, надо мазать на лицо, пока тёплые, многим женщинам помогало. Другой возразил – это ерунда, только мощная магия спасёт. Отслаивают женщине кожу на лице до самого носа, натягивают и снова пришивают с молитвою, получается маска молодой девушки. Никто разницы не заметит, только изредка, в полнолуние и при ясном небе настоящий облик может отразиться в горном озере – а зачем тебе, госпожа, в горы переться?

Затосковала госпожа от таких слов и отказалась.

Любовники госпожи повели себя по-разному.

Старший захохотал: а нечего было надо мной смеяться, дурачком называть. Ну да ладно, куда деваться, я к тебе привык, буду с некрасивой спать, но только смотри, веди себя теперь соответственно. Не возносись, не прекословь, радуйся моей доброте и скажи уже, что я умный, а?

Госпожа ответила, что обязана врать только маме и мужу, а любовников для другого греха заводят. И сбежала.

Младший ничего не говорил, но вдруг уехал в Таиланд на полгода, потому что нужно разобраться в себе.

А средний был всё так же уважителен и нежен, но появились возле него девушки с лицами фарфоровыми и сияющими, будто стало ему не хватать света, и в дом внесли уличные лампы.

Госпожа тогда удивилась и подумала: вот странно, во многих книгах пишут, что пары распадаются так – мужчина изменяет, а женщина уходит. И вроде бы получается, что сама ушла и самолюбие спасла, но по сути-то он её бросил. Я же всегда была неверная, но никуда

не уходила. Говорила: «Я не изменяю – я изменяюсь», прежней твоей женщины больше нет, а мне зачем уходить? Живи теперь со мной, новой, если хочешь. И все хотели. И теперь я опять изменилась, но закончилось всё, смотри-ка, по-книжному. Должно быть, там больше правды, чем казалось.

Выйдя в свет, госпожа обнаружила, что мужчины неожиданно поумнели. Раньше она появлялась, и глаза у них делались глупыми, а речи сбивчивыми, они оставляли свои дела и начинали танцевать перед ней, как олени. А сейчас только бросили на неё взгляд и продолжили умные разговоры, и отвлечь их не было никакой возможности.

А когда госпожа спустилась в метро (каре́та её временно превратилась в тыкву и стояла в сервисе), какой-то мужчина чуть не убил её дверью. Госпожа шла за ним, ничуть не сомневаясь, что он придержит для неё створку, и потому едва не пропустила удар в лицо, еле успела перехватить. Раньше такого не случалось, а теперь она будто стала невидимой, люди замечали её, только когда натыкались, и тогда говорили: «Куда лезешь, глаза дома забыла?» А глаза, вот они, почти такие же, может, белки немного потемнели, радужка – золотая и зелёная, потускнела, а верхние веки слегка обвисли. Тяжело стало взмахивать ресницами, посылая лукавые взгляды, да и незачем.

Госпожа вернулась домой, не раздеваясь пала на ложе, грубо отослав аккуратную Наталию, и тонким розовым пальчиком, подобным лепестку вишни, оживила айфон. Фейсбук всегда отвлекал её от тяжёлых мыслей, за исключением тех случаев, когда подсовывал контекстную рекламу: «Больше сорока лет? Задумайтесь о пенсии!», «Пластические операции» и «Спорт для пожилых». Но сегодня лента была милосердна к госпоже и предложила только элитный жилой комплекс, трусы-утяжку и тренинг для дам «счастливого возраста» – это ещё можно вынести. «Конечно, в старости счастья всё больше с каждым днём: проснулся и ничего не болит – счастье. Болит, но проснулся в сухой постели? Безусловно, счастье. Просто проснулся? И то молодец! Каждый день новая победа».

Госпожа ещё немного проскроллила и вздрогнула – Фейсбук самовольно запустил ролик, который опубликовал какой-то благородный господин. («Старые пердуны», – пробормотала дерзкая Таша, заглянувшая, чтобы предложить стаканчик белого вина – пусть и среди дня, но женщине в печали это уместно.) Госпожа мысленно с нею согласилась по обоим пунктам. И вина ей хотелось, и песня была древней, как испражнения ископаемых мохнатых слонов, что бегали на могучих ногах по доисторической Земле. Невыносимое механическое диско и липучий мотив, который госпожа мимодумно подхватила соловьиным голосом: «Перечитай! «Малую землю» и «Возрождение» перечитай!» – и тут же прикусила язычок. Молодой даме никак невозможно знать городской фольклор восьмидесятых, откуда бы?

Песенка нехитрая: сначала вступает мужчина с вибрирующим козлетоном, а потом женщина – её наилучший вклад в дуэт состоит в сияющем взгляде, который она устремляет на своего толстоватого партнёра. Как блестят её глаза (и зубы, но это неважно), как она излучает восхищение – тридцать пять лет назад это было самым главным во всей песне.

Женщины, увидев её, сразу печалились, потому что им не на кого было так смотреть – не на этого же. И мужчины мрачнели, понимая, что многое отдали бы за такой взгляд, но от этой разве дождёшься. А Наташка, даром что сопля, но раз и навсегда поняла: только так и нужно. Чтобы от тебя с ума сходили, гляди, будто всё твоё счастье в этом человеке. И глядеть имеет смысл лишь на того, в ком всё твоё счастье.

Она даже помнила, как это случилось впервые. Та школьная дискотека, на которую их, мелких, наконец-то допустили вместе со старшеклассниками. Наташка все мозги вывихнула, придумывая, что бы надеть. Стащила бы у сестры зелёную юбку-солнце, но Катька над своими вещами чахнет, как демон, тряпичница несчастная. Перебирает вечером одежду в шкафу, только увидит пятнышко, сразу вой: «Ташкааа, зараза, руки оторву, опять таскала!» Наташка,

конечно, отпирается для приличия, но по правде говоря, было дело – и брала, и пятно посадила. Сама Катька, как робот, никогда ничего не помнёт, не порвёт, не испачкает. Наташка, может, тоже бы так хотела: заплетать патлы в тугую косу, вещи все по плечикам-стопочкам держать, начищать сапоги каждый вечер, содержать ногти в идеальном порядке и зваться Наталией для значительности. Но вещи её не любили, а она их не понимала.

Значит, Катька вечером дома, с юбкой не сбежишь. В штанах идти глупо, повседневно. Хотя у Наташки есть настоящие джинсы «рифле», но мама говорит – это рабочая одежда, пусть и современная. В красном костюме тётъВалином? Папина сестра шила не хуже Зайцева, и мама однажды принесла к ней на платье кусок тонкой кровавой шерсти. Но приложили к лицу, посоветались и решили, что её природный алый румянец, легко вспыхивающий под тонкой белой кожей, с этим цветом не очень. А ей нельзя «не очень», она же красотка, в отличие от Наташки, которая папина дочка и очень, конечно, славная, но не ах. «А давай Ташке пошьём, – предложила тётъВаля, – ей и на костюме хватит». И пошили. Рукава «летучая мышь», вырез узкий и глубокий, но приличный, а юбка годе – на бёдрах в облипку, а книзу расходится тюльпаном. Красиво – не передать. Вот только Наташке совсем не шло, она от этого красного какая-то зелёная становилась. Зато взрослая, мама так и сказала: «Да ты девушка совсем, Наталия, повзрослела не пойми когда!»

И Наташка решила: раз дискотека со старшеклассниками, костюм в самый раз, и узкие белые лодочки фабрики «Парижская коммуна», которая единственная шила туфли маленького размера на высоких каблуках. Зачесала волосы на одну сторону и губы накусила, чтобы поярче, а щёки напудрила маминым «Лебяжьим пухом». Тут же, конечно, обсыпала всю грудь и кое-как отчистила кофту – ну не давалась ей аккуратность, это надо было другим человеком родиться.

Начинали в шесть, Наташка вышла за полчаса и медленно, нога за ногу, потащилась к школе, но добралась всего минут за десять и долго переминалась в холле, потом на втором этаже, возле актового зала, который не открывали до последнего, а позже у стены, ожидая, когда вырубят свет и врубят стробоскопы. Но и тогда ей было стыдно танцевать, тем более, она поняла, что всё-таки ошиблась с одеждой. Девчонки все пришли в коротеньких варёных юбках, одна она в миди как попадья, лучше бы правда джинсы надела. Наташка мрачно следила за рыженькой Ленкой – модной, с причёской «под мальчика», открывающей затылок. «Щёки со спины видно, а туда же. И лифчик вон просвечивает», – сердито думала Наташка, наблюдая, как та извивается под Тото Кутунью, выламываясь перед Вадькой – самым красивым мальчиком в параллели. Он был похож на Маяковского – очень юного, нежного пухлогубого Маяковского, но уже с чеканным профилем и наглыми льдистыми глазами. Наташка по нему сохла, и все это знали. Невозможно скрыть, когда ловишь его взгляд, и всё, как вспышка голубого лазера по мозгам – куда шла, зачем, не вспомнить, дар речи пропал, только голову опустить и спрятать лицо под длинной чёлкой.

А он её как не видел. Дурак.

Вечер медленно подходил к концу, мальчишки уже выбегали покурить, кто-то даже портвейн у старшеклассников видел, и тут диск-жокей объявил белый танец. И Наташку, которая три часа мялась от смущения, будто подняло и понесло в центр зала, потому что сейчас или никогда. Она подошла к Вадьке и спросила небрежно: «Пойдём?» Если бы он отказал, был бы позор на всю школу, но он кивнул и пошёл с ней. И тут зазвучала эта чёртова «перечитай», и Наташку вдруг унесло, она почувствовала такую свободу, о которой только в книжках пишут – и начала танцевать ужасно красиво и модно, вытягивая вперёд руки по очереди, и делая кистями такие особенные изящные движения, чтобы пальцы раскрывались, как лепестки. Вадька топтался перед ней сдержанно, как положено парню, и тогда она как бы случайно уронила одну руку ему на плечо, подняла глаза и посмотрела так, как эта Ромина на своего Альбано: как будто он её единственное счастье, как будто её сердце превращается в сияние и изливается из глаз, чтобы Вадьке было светло, и сама она превращается в одну вели-

кую любовь. И все вокруг это увидели, Вадька всё понял, страшно покраснел, сказал «Дура, блин!», сбросил с плеча её руку и ушёл.

Она продержалась до самого конца дискотеки, гордо вышла из зала, гордо пошла домой и гордо сняла костюм цвета крови, гордо легла в постель, посмотрела в потолок и только тогда расплакалась. Жизнь была кончена, слёзы затекали ей в уши, а в голове звучала эта беспощадная песня.

Точно как сейчас.

Госпожа с силой прижала ладонь к глазам, выругалась, на секунду превратившись в охальницу-Ташу, и шумно высморкалась во что подвернулось – в угол пододеяльника. Жизнь и правда куда-то делась так быстро, будто длилась всего три минуты, от первых аккордов до последнего гаснущего «феличитаааа» и неуклюжего реверанса крупной длиннорукой певички. И она сама теперь снова некрасивая, зарёванная, не нужная никому. Кто бы ей сказал тогда, дуре, что всё впереди, и счастье её расцветает именно в эти мгновения – когда всё потеряла и на всё способна, всё забыла и всё поняла, и сердце разбито и готово к любви. Для некоторых так выглядит свобода, но для неё на всю жизнь это и было счастьем.

Тогда. А теперь-то, конечно. Куда теперь счастье, когда кошки слизали красоту.

Ведьма (Инициация)

ГЛАВА ИЗ КНИГИ

Мы живём во времена, когда ведьмой быть модно, это слово – комплимент, и женщины то и дело хвастают своими особыми способностями. Каждая вторая – то зелья варит, то зубы заговаривает, а уж колдовская кровь найдётся в роду у каждой первой. Ольга казалась себе на фоне подруг серой мышью без капли магии, поэтому всерьёз решила исследовать собственное прошлое на предмет хоть чего-то неординарного.

Вот мама – да, особенная. Она любила всё необыкновенное, но более всего ей нравилось самой производить впечатление женщины загадочной и непростой. Выходило так, что в детстве деревенская ведьма буквально гонялась за ней, чтобы «передать дар», а её собственный прадед был цыганом, и от него остались не только словечки на языке ром и размытый дагерротип, но и умение гадать, «глаз», и прочие непонятные, но прельстительные вещи. В самой Ольге не проявилось ни капли кочевой крови, и в цветастых платьях с оборками, которые мама неизменно шила для новогодних вечеринок, она чувствовала себя принаряженной шваброй. Не умела плясать, петь и трясти плечами, поэтому маскарад не имел никакого смысла. Русые тонкие волосы никак не желали превращаться в тяжелые тёмные кудри, и она с облегчением постриглась под мальчика, как только вытребовала право распоряжаться своей прической – в классе шестом. Освобождение от ненавистных сосулков совпало с первой влюблённостью и окончательным разочарованием в фамильной необычности. Мальчик ею не интересовался, и опечаленная Оля, в конце концов, проговорила маме. Софья покивала, минут на десять удалилась в спальню, и вернулась с обрывком тетрадного листка в линейку:

– Бери, это наш тайный семейный заговор. На полную луну встань у окна, нашепчи в стакан воды, а потом выпей. И смотри там – в конце трижды сказать: «Аминь-зараза» и плюнуть через левое плечо. Делай три месяца, потом сам прибежит-присохнет, не отгонишь.

В ожидании полнолуния Ольга принялась мечтать об этом самом «не отгонишь», но за пару дней до срока ей попался толстый зачитанный роман. Название помнилось до сих пор – «Лидина гарь», – заложенный конфетным фантиком как раз на том месте, где было напечатано их родовое цыганское колдовство. Она не столько обиделась, сколько огорчилась – значит, не присохнет... От отчаянья, впрочем, заговор про камень белый-светлый и море-окиян над водой всё-таки начитала, но не помогло, стотысячное тиражирование убило, видно, всю магию.

Но было с нею ещё что-то... Ольга обратилась к самым ранним детским годам, когда перед глазами чаще мелькают ноги, чем лица, и крупными планами – золотистая деревенская дорога, пыль и камешки. Внезапно на неё обрушился жар июльского дня. Ей почти ровно пять лет, позавчера исполнилось, она бредёт по бесконечной сельской улице, смотрит под ноги, стараясь ставить босые исцарапанные ступни на чистый песок, избегая зелёных бутылочных осколков, овечьих катышков, острого щебня. Неожиданно утыкается в чей-то большой тёплый живот, который обвязан застиранным фартуком, пахнущим козой.

– Чья ты? Стешина? – Сухие руки трогают Олино лицо, приподнимают подбородок, светлые глаза заглядывают в её, карие.

– Моя мама – Сонечка, а бабушка – Степанида, – немного стесняясь чудного бабкиного имени, отвечает она. – А сама я Ольга.

– Меня зови Настасьей. Пойдём, Ольга, молока дам.

Через мгновение сухой жар сменяется прохладой тёмных сеней, Оля пьёт из пол-литровой банки жирное звериное молоко, а потом ей позволяют погладить белую камолую Марту по узкому лбу между шишечек, которые у неё вместо рогов.

Потом Ольга бежит к голубой бабушкиной калитке, которая, оказывается, совсем рядом, через улицу, перескакивает высокую приступку, в очередной раз чуть ссаживая кожу под коленом, и несётся к маме хвастать.

Чёрно-рыжий вислоухий Пират гремит цепью, молча кидаясь навстречу, но узнаёт, и отходит в будку, заступая лапой в алюминиевую миску с водой. Дверь в дом тяжела и тоже выкрашена в бледно-голубой, и за лето Оля успевает запомнить карту отслоившихся островков краски, которые рассматривает каждый раз, пока тянет на себя толстую железную ручку. На терраске никого, она быстро проходит тёмный страшноватый коридор, заставленный мёртвыми ненужными вещами, открывает ещё одну тугую дверь, минует кухню с холодной печью и оказывается, наконец, в комнате, где мама и бабушка пьют по седьмой чашке из остывающего самовара.

– Я пила звериное молоко! – назвать его козьим не поворачивается язык, слишком оно пахло жизнью. – А у Марты рогов нету! Баба Настасья сказала, что даст подоить!

Это были главные новости, но бабушка прицепилась к неважному:

– Ты зачем, гайдучка, к Наське лезла?

– А что, – немедленно вступилась мама, которую бабушка за склонность к спорам звала поперёшницей, – нельзя?

– Говорят, ведьма она, и под немцами была. Подозрительная. Картошку не садит, цветами не торгует, курей нет, молоко только для себя, – на пенсию, говорит, живёт. Вот откуда у ей такая пенсия?

– Ну ты, мам, глупости болтать. – В родной деревне Сонечка стремительно опрощалась, на время теряя городской лоск. – Пусть девка ходит, молоко пьёт. Ты ж коз повывела, теперь дитё по чужим бабкам бегают.

Зорьку и Звёздочку Стеша зарезала осенью, потому что сама же Сонечка из года в год жаловалась на вонищу от козлят, которых на зиму брали в дом. Но сейчас собачиться не стала, только поджала губы и посмотрела на дочь понятным взглядом: «Дура ты, дура, не при детях сказать...»

Из всего разговора Оля поняла, что к бабе Настасье ходить не запретили, и назавтра уже благоговейно обмывала розовое козье вымя, обтирала белой тряпочкой, надавливая кулачками сверху вниз и старалась, чтобы тугие струи попадали точно в жестяное ведёрко. Только один раз руки дрогнули от напряжения, густое молоко хлестнуло по коленке, и Оля быстро нагнулась, слизала каплю, а потом тревожно взглянула на старуху – не отругает ли за убыток? Но та смотрела куда-то поверх её головы и ничего не заметила.

Они продружили до начала августа, а потом у мамы начался отпуск, и Олю отвезли на юг, к морю. Хотя как – продружили? Разве можно наладить отношения с камнем? Только прятаться в его тени от жары, а вечером, наоборот, греться о тёплый бок, пока он медленно остывает, отдавая накопленное. В Настасье было спокойствие, которого Оля не замечала ни в суетливой матери, ни в раздражительной бабушке. Она ни на что не сердилась, редко отвечала на вопросы и никогда не пускала девочку в дом дальше сеней. Но необходимо не пускала, не из вредности или в качестве наказания, а просто нельзя было туда, вот и всё. Они чаще встречались во дворике под виноградом, который невесть как прижился в средней полосе, не вызревал, конечно, но давал тень над столом и двумя лавками. Садились друг против друга, недолго разговаривали и расходились. Эти встречи обеспечивали Ольге необходимую порцию взрослого и значительного, которая была нужна её маленькой жизни, как подпорка – лозе, чтобы подниматься, расти вверх, а не стелиться у ног больших людей.

Однажды она осмелилась спросить, вспомнив бабушкины слова, как это, «под немцами»? Против обыкновения Настасья ответила, рассказала, как жила во время войны на Украине, как при отступлении немцы всех стреляли, а она спряталась в сортире, пролезла в дыру – худенькая была девка, – и сидела там в говне по шею. Оля слушала, и даже не дрогнула от ужасного слова, потому что разговор важный, а Настасья тем временем вспоминала, как автоматные очереди прошивали хлипкие стенки, и если бы она побрезговала и не залезла в говно, убили бы. И до ночи там просидела, а потом пришли наши и спасли, только очень ругались, что воняет. Обливали её из шланга, а она молчала, потому от страха пропала речь. Потом только вернулась.

Оля решила и спросила о том, что занимало её уже много дней – откуда на запястье у Настасьи следы выцветшей наколки, ведь такие бывают только у бандитов. Оля не разобрала, что написано, не умела читать, да и тонкие синие линии почти терялись в морщинах, но они там были. Но минута удачи закончилась, старуха больше не хотела говорить.

Перед Олиным отъездом Настасья впервые явилась сама – приблизилась к калитке и подождала. Бабушка неожиданно быстро её заметила, вышла, с минуту они разговаривали, потом разошлись. Оля в это время укладывала с мамой сумки, но внезапно встревожилась, выбежала во двор и успела увидеть только прямую широкую спину Настасьи. А бабушка показала ей гостинец: в школьную клетчатую бумагу завернута странная штука – наплетенная на палочку вишня. Черенки как-то хитро связаны, так что ягоды лежат плотными тёмными рядами.

– Наська наказала тебе передать. Возьмёшь? – спросила бабушка.

Станный вопрос, Олю никогда не спрашивали, хочет ли она принять подарок, давали и всё. А тут и бабушка, и мама, выглянувшая следом, молча ждали её ответа.

– Возьму, – солидно ответила Оля и взяла вишню.

Одна ягода оторвалась, запрыгала по твёрдой натопанной земле, но девочка поймала её, обтёрла и быстро засунула в рот. В ужасе посмотрела на маму – сейчас закричит: «Куда, грязное!», но та промолчала. Оля и сама была с головой, но именно эту вишню казалось важным съесть всю, до последней кисло-сладкой ягодки. Села на крыльцо, подстелила на колени тетрадный листок и не встала, пока не доела. Завернула косточки и черенки, пошла в огород и закопала, а палочку оставила на память. Это её первый взрослый подарок, надо беречь.

Пока возилась, её не дёргали, и не ругали потом за несмываемые пятна сока на руках и на платье, отправили в город как есть, перемазанную и с урчащим животом.

Потом были бесконечные недели на море, яркие, искрящиеся, полные новых ощущений и вкусов, но все они слились в переливающееся сияющее чудо и забылись, а вот вишню, скачущую по двору, она помнила.

К сентябрю вернулась загорелой и почти белоголовой, в садике предстоял выпускной год, но на последний летний выходной мама отвезла её в деревню, поздороваться с бабушкой и тут же обратно, благо на автобусе полчаса езды.

После традиционных ахов про то, как выросла, после того, как заставили задрать платье, оттянуть резинку трусов и показать, какая там белая, а тут чёрная, бабушка сказала:

– Наська-то померла, – осуждающим тоном, будто сообщала об очередной подозрительной выходке.

Сонечка прикрыла рот ладонью: она старалась не говорить о смерти при ребёнке, не нужно детям про это.

– Похоронили намедни. Марту Катюха забрала, они с Наськой вроде как знали, дом родня продаст. А тебе, – наклонилась к Оле и сказала чуть насмешливо, – она завет оставила. Можешь к ней в цветник пойти и нарвать роз.

Олю поразила не столько новость, сколько неожиданное слово из бабушкиных уст: у них говорили «в огород» или «на грядки», а цветники были только в сказках Андерсена.

И её, в самом деле, отвели в пустой сад, где желтела коротенькая трава и росли плотные колючие кусты, усыпанные мелкими чайными розами, хотя почему они так назывались Оля не понимала – на самом деле они были молочные, лишь слегка подкрашенные заваркой. Выдали крышку от коробки рафинада, она, царапая руки, нарвала в неё цветов, одних только головок, и ушла. Увезла с собой в город и долго потом хранила, вместе с вишневой палочкой.

Только через полтора года, весной, вернувшись из школы, не нашла своих вещей: мама сказала, что в лепестках завелись мошки, поэтому она их выкинула. Но к тому моменту это уже не имело особого значения.

Московская фиалка

Последние полгода Оленька жила с тётёй Машей, точнее, у тётёи Маши. Если девушка родилась неподалеку от Москвы, то почти наверняка часть юности проведёт в пригородных электричках, потому что учёба, работа, развлечения, мужчины – всё там, в центре. И когда после двадцати пяти устанет от разездов, либо быстренько выйдет замуж за одноклассника и оседет в своем городке, либо сделает рывок и окончательно переберётся в Москву. Оленька выбрала второй вариант хотя бы потому, что у неё была тётя Маша, мамина старшая сестра, владелица маленькой двухкомнатной квартиры в Новогирееве. Бывшая учительница русского языка, представительница вечно вымирающего и навсегда бессмертного племени интеллигентных пенсионерок «из предместья». Быть учителем в рабочем районе – это, конечно, не миссионерство среди дикарей, но определённая доля авантюризма и внутренней дисциплины необходима. При встрече с пьяным учеником через десять лет после выпуска в тёмном переулке никогда не угадаешь падёт ли он на колени, чтобы поцеловать натруженную руку любимой учительницы, или попытается забить ногами старую суку-бля-как-же-я-тебя-ненавижу. Чтобы избежать эксцессов, следовало всю жизнь держать дистанцию между собой и соседями, не заноситься, но и не братаясь с каждой бабкой у подъезда. И тётя Маша держала её до сих пор, замедляясь около лавочки с дежурными старухами ровно настолько, чтобы поздороваться и отметить изменение погоды. Ни здоровья, ни цен, ни тем более политики тётя Маша с ними не обсуждала. Да, собственно, рано ей было к ним на жёрдочку – шестьдесят пять лет для умной женщины – это не старость. Из школы её мягко выпроводили на пенсию всего четыре года назад, и если бы не отсутствие мужа, тётя Маша еще могла бы сойти за «женщину в возрасте» – а так, конечно, «пожилая» уже. Мужа не было, не сложилось, и обе комнаты тетямашиного дома заполняли женские вещи, неинтересная мебель и книги, и никакого другого духа, кроме запаха кислотовато-пыльного старения, не чувствовалось. В шкафу хранилась простая и строгая одежда – хлопковые блузки пастельных тонов, длинные черные юбки, шерстяные кофты и одна белая рубашка с рюшами из натурального шелка, которую тётя Маша надевала в праздники. На стенах висели вышитые фиолетовые цветы – ирисы и фиалки – работы покойной мамы, Оленькиной бабушки, которая лет тридцать назад тихо освободила одну из комнат, а фотографии, собранные в большую раму под стеклом, так и остались стоять на тумбочке, потому что просверлить стену и вбить надёжный гвоздь под эту махину было некому.

Тётя Маша пустила Оленьку просто так, даром, лишь бы носила сумки из магазина, оплачивала коммунальные и проявляла уважение. Последнее оказалось самым важным – сдав комнату за определённые деньги, тётя Маша временно потеряла бы права на квадратные метры, на пыльный воздух, на неусыпный контроль над происходящим, а этого допускать никак нельзя, потому что квартира за столько лет одиночества стала частью организма, и любое слепое пятно в ней ощущалось как тромб, грозящий омертвением и погибелью. А так Оленьке нельзя ни мебель передвинуть, ни замок в дверь вставить, разве что крючок изнутри, ну так он всегда был, крючок, а вот, уходя, комнату не запереть, потому что честной девочке от тётки прятать нечего, да и тётка без нужды не полезет, воспитание не то.

На гостей Оленьки был наложен запрет, и это естественно – какие гости, когда сама в гостях. Тётя Маша никогда не нуждалась в компании и Оленьку-то пустила потому, что сердце по ночам в последнее время вдруг обрело самостоятельность и вместо того, чтобы ровно стучать на одном месте, произвольно меняло ритм и траекторию движения, вдруг кидаясь к горлу или проваливаясь в живот, останавливаясь или спеша, как одичавший будильник на исходе завода. Чужая жизнь за тонкой стенкой мешала, но оставляла шанс, если вдруг что, так хоть врача... А квартиру кому потом? А квартиру ей, Оленьке. Вот пусть и потерпит.

Оленька «работала в офисе». То есть на самом деле она сидела в конторе, с девяти до пяти обсчитывала объёмы грузоперевозок, что бы это ни значило, и получала около двадцати тысяч рублей. Но «офис» звучал красивее, и в настоящих офисах росли выющиеся растения, а не герань на окнах, и бумаги лежали в пластиковых файлах, а не в картонных папках на завязочках, и рабочий день с десяти, и платили больше тысячи долларов, и статус «офисной служащей» был выше, чем «конторской», поэтому всем говорила так. Оленька ленилась искать работу получше, тем более денег хватало, если не платить за комнату, как раз на хорошее девичье житьё – клубы по пятницам, кофейни по выходным, два раза в год распродажи в «Охотном Ряду», отпуск в Турции, и по мелочи – мобилка, кремчики и косметика: пудра, тени и красная помада из «Арбат Престижа» – это на вечер, а утром, на работу, розоватый блеск с ванильным вкусом и тушь.

Полумонастырский режим в доме личной жизни почти не мешал. Всё равно после работы, часовой поездки в метро и пробежки по продуктовым с тётиным списком сил и настроения оставалось только на ужин, телевизор (маленький, в своей комнате) и книжку. В девять вечера тётя Маша смотрела у себя программу «Время», потом сериал и около одиннадцати ложилась спать, тогда можно было повисеть на городском, но недолго, потому что будильник на семь утра. Зато в выходные гуляй хоть весь день и даже, после предварительного предупреждения, конечно, ночуй, где хочешь. Тётя Маша не стремилась контролировать Оленьку, её интересовало только пространство квартиры – не творилось бы на нём безобразия, а что там за порогом – не важно.

«Ночуй, где хочешь» – это здорово, было бы с кем. Олин любовный график развалился совсем недавно, едва сложившись. Зимой, уже после переезда в Москву, она познакомилась с парнем, который никак не подходил не только конторской, но и офисной девушке. Красивый, как с обложки, занимается непонятно чем, живёт с отцом в двушке, у каждого своя комната, свои женщины, свои деньги. Зарабатывает «компьютерным дизайном на фрилансе». Оленька умная, она знает, что такое «фриланс», и на компьютере умеет, но вот как можно жить без зарплаты, ей до сих пор непонятно. Тридцать лет мужику, а всё не при деле.

Но это сейчас она так говорит, зло улыбаясь и даже упирая руку в бедро – когда в очередной раз отвечает подруге: «Да что этот-то? А ничего». А сначала, конечно, иначе было: какой «мужик», какая «работа» – когда синие глаза, русые кудри и худое смуглое тело, неотчётливо пахнущее фиалками, чем-то таким неживым и нежным. У него даже рубашки реже пачкались, чем у других мужчин. На третий день только воротник темнел – такой весь чистый и сухой мальчик. А ведь стирать ему некому, сам за собой следил. Тогда, по крайней мере. Да, сухой он был и жаркий, только во время любви выступал на нём горячий чистый пот, который она потом смывала с себя с сожалением.

Собственно, истории у них никакой не было. Между первым синим взглядом и постелью прошло всего ничего, а потом были десять недель, десять ночей, с субботы на воскресенье. (А один раз даже дважды подряд у него ночевала, то есть всего одиннадцать, с самой пятницы вместе, только пришлось сначала с работы до дома доехать, тётя Маше еды купить.) Десять раз она переступала его порог, расстёгивала сапоги, сбрасывала куртку – не глядя куда, потому что он уже ловил её коричневый взгляд и удерживал своим, синим, не отпускал, и её красные губы трогал своими пепельно-розовыми, прикусывал белыми зубами, а она дышала его русыми волосами, его фиалками, его холодным домом, и горьким дымом, и всей его чудной жизнью, и немножечко смертью (хотя об этом не догадывалась).

На третий раз, когда на две ночи оставалась, они курили вместе – понятно что. Оленька отлично знала про траву, с девчонками пробовала, хихикала больше за компанию, чем от кайфа. И тут закурила смело и весело, закашлялась, засмеялась, торопясь показать, что вот уже, вот и поплыла. А он вдруг внимательно посмотрел в глаза – и тут уж она не на шутку провалилась, закрутилась в водовороте, упала на самое дно и закричала. А потом он её, плачущую, вытащил и спас. И после этого началась настоящая Олина любовь, которая прожила два месяца, до самой весны – всего два или целых два, как посмотреть. Потому что до этого были мужчины, и всякое было, до двадцати шести девственность никто не хранит, но вот такого не было. Если охота смеяться над Оленькой, то можно сказать, что случилась у них любовь выходного дня, обычная конторская связь, но только кто же посмеётся, когда на девочке всю неделю лица нет, когда два раза в день улыбается в трубку, а чаще не смеет, потому что особенный он, не такой и не отсюда, его не станешь попусту донимать. А когда один выходной пропустили, не встречались, – уезжал, куда не сказал, а спрашивать нельзя, он гордый, – думала, что умрёт. Сидела дома два дня, потом до самой пятницы как мёртвая на работу ходила, а в субботу вдруг оказалась у его двери – непонятно как, – только проснулась утром, потом ничего, а потом уже коричневый дерматин перед глазами и неработающий звонок под пальцем клякает. Но он услышал, он всегда её слышал, впустил, и всё опять повторилось. Только после любви она повернула голову и увидела, что на его столе что-то не то. Вроде ушло или добавилось что. Чёрно-белая фотография. Девчонка некрасивая, на сестру не похожа. Кто?

– А это моя невеста.

– Что же ты...

– А ты не спрашивала. В апреле свадьба.

– А я, а мы...

– А что ты? Что я? Ты – это ты, а она – невеста.

Не-вес-та. Оленька думала, что он и слов таких не знает. Всегда говорил «подруги», а будет, значит, «невеста», и платье белое, и костюм чёрный, и цветы будут, но не с тобой.

Поднялась, оделась, ушла. Не звонила больше, и он не звонил. Не улыбалась, не дышала, не жила, на работу ходила.

И однажды тётё Маше всё рассказала. Тётя Маша её очень одобрила, сказала, что гордость для девушки главное, а что он её обманул, так за это его бог накажет. Оленьке совсем горько стало. Как на свадьбе. Ведь уже апрель был.

А в мае всё почему-то наладилось. Наверное, потому что Оленька крепкая, и хотя сердце у неё теперь на веки вечные с трещиной, тело осталось живым, краше прежнего даже; и пускай горечь из глаз никуда не делась, добавилось весеннее медовое томление, будто вместе с белыми цветами за окном распустился и в ней новый бутон, и не мёртвая фиалка какая, а душистая лилия. Вот.

С тётёй Машей они так и не сблизились, несмотря на тот разговор, жили, как два яичка, каждое в своей ячеечке, целое и замкнутое, а свежее или нет – не понять, пока не разобьёшь случайно. Впрочем, что на уме у Оленьки ясно, а вот о чем тётя Маша думает – никому не известно. Женщина она молчаливая, тихая, голос не повышает и Оленьке говорит только, что по дому сделать нужно или когда она, Оленька, неправильно поступит. «Ты, Оленька, мокрое полотенце вчера в ванной бросила, а надо было на верёвку повесить – а то не высохнет, запахнет».

– Хорошо, тётя Маша, извините.

Оленьке ни капли не обидно, потому что такие у них отношения интеллигентные, а кругом весна, и даже на их шумной и дымной улице под утро поют птицы, и голос горлицы слышен, сладкий, как чёрные виноградины.

Оленька уже давно не была у родителей, хотя до них всего час на электричке, но ни счастливой зимой, ни страшной весной у неё не нашлось сил, чтобы отнять один выходной день сначала у своего счастья, а потом у своего горя, и съездить к себе в городок. И вот после работы, как раз перед девятым, она решила, что давно пора. Доехала до тётки Маши, купила продуктов, принесла, переделалась и попрощалась до завтра. Тётя Маша, кажется, рада была от неё отдохнуть, хотя на лице ничего такого не показала, но видно было. В конце концов, полгода как две кукушки рядом просидели и ещё, даст бог, просидят, до самого отпуска в августе. Оленька вышла из дома, купила маме карамельных вафель, которые она любит, а у них не продают, и вошла в метро. Пятнадцать минут – и на вокзале.

А на «Курской» ее окликнули.

А на «Курской» ее окликнули.

Медленно-медленно, как в кино, она поворачивалась и думала: «Медленно-медленно, как в кино, я поворачиваюсь, и если сейчас посмотрю ему в глаза, я пропала». Так оно и вышло.

Он обласкал её всю одним взглядом, тронул губами губы и, не отрываясь, прямо в губы, сказал: «Пошли к тебе». Её рот было заполнила горечь, потому что знала точно, отчего не к нему, но белая лилия внутри пахла всё сильнее и сильнее, и она схватила его за руку и вбежала в вагон обратного поезда. Десять минут – и дома.

Было почти одиннадцать, и тётя Маша уже спала, наверное. Оленька отперла дверь, заглянула – тихо, втащила его и втокнула в комнату – не до церемоний. Накинула крючок: если ночью тётя Маша встанет, скажу, не открывая, что заболела и вернулась с дороги, а там как-нибудь, как-нибудь, потому что главное теперь – расстегнуть рубашку, найти губами сухую горячую ключицу, вдохнуть фиалки и возвратиться к нему, к себе, к жизни. Вот, вот, вот – расстегнула, нашла, вдохнула, затихла.

И тут они услышали за стеной голос – тётя Маша громко разговаривала с телевизором. Оленька понятия не имела, что у тётки Маши бывает такой чёткий, напористый голос. Но ведь она никогда раньше и не задумывалась, как тётя проводит в пустой квартире целые дни одна. А тётя говорила:

– Навыбирали тут уродов. Сами уроды и навыбирали таких. Да. Ты, рожа крысиная, до чего страну довел. Теперь удивляешься? Расплодили черножопых, как их учить, когда они по-русски только материться могут, и то с акцентом. Евреев напустили и американцев, понастроили «Макдоналдсов». Как же я ненавижу вас всех, суки. Идите все в жопу. В жопу.

Голос приблизился – тётя Маша вышла в коридор и двинулась к туалету, не переставая вещать. Она шла, топая и почти скандируя:

– Ненавижу! Черные! Ннахрен! «Макдоналдсы»! Ннахрен! Оленька, сучка такая, ннахрен! Евреи, ннахрен!

(Оленькин парень неожиданно хмыкнул и довольно громко сказал: «Круто». Оленька зашипела: «Молчи ты» и быстро запахнула на нём рубашку.)

Слышно было, как тётя Маша рывком открыла дверь туалета, тяжело села на унитаз и через некоторое время громко и уверенно помочилась. На время стало тихо.

Оленька решила, что пока тётя Маша в туалете, они успеют удрать из квартиры, благо входная дверь напротив ее комнаты. Тётка, видно, сошла с ума, но главное сейчас – сбежать, а за вещами она потом с подружкой зайдёт. Как-нибудь перекантуется, а потом можно будет нормальную комнату снять... Она влезла в туфли, дёрнула за руку своего парня, выскочила

в коридор, метнулась к выходу и остановилась. Потому что из туалета шёл ровный яркий свет, и Оленьке ничего не оставалось, кроме как повернуться и посмотреть. Дверь распахнута настежь, и перед ней на унитазах сидела тётя Маша. На ней была надета нейлоновая фиолетовая комбинация, обтягивающая тяжёлое тело, на белом старом лице цвели огромные губы, нарисованные красной Оленькиной помадой, широко расставленные ноги – в пушистых розовых тапочках, а в руках она комкала кусок бумаги.

Пауза затягивалась.

– Добрый вечер, – сказал Оленькин парень.

– Добрый вечер, – ответила тётя Маша, поднялась, подошла ближе, всмотрелась в его лицо и принялась медленно стирать туалетной бумагой тревожные красные разводы – следы Оленькиных поцелуев с его губ.

Так окончилась главная Олина любовь.

Сиреневое платье Оленьки

Прошлой весной, спустя многие годы, снова перечитала прелестную маленькую пьесу Франсуаза Саган «Сиреневое платье Валентины».

Впервые она попалась мне в последнем школьном мае, в деревне, когда я делала вид, что готовлюсь к выпускным экзаменам. Открыла тогда, и сердце окатило тоской, будто приподняли лёгкую ситцевую занавеску в бабушкином доме, а за нею и не палисадник вовсе, и не сирень, и не рыжие куры, а весенний Париж, узкая улица, вымощенная камнем, и я ступаю по ней – взрослая. Такая, какой мне безуспешно хотелось быть: очень красивая, победоносная и без веснушек.

Я представила, что у каждого человека есть свой идеальный возраст, к которому он всю жизнь стремится, а миновав его, – горюет. Для одного – это солнечные двадцать, для другого – самоуверенные тридцать, а третий через пустые годы идёт к умудрённым шестидесяти, например. И, дойдя, человек несколько лет живёт точно в своём теле и свою жизнь, а до того – будто догонял себя, после же – покидает.

И мне показалось, я встречаюсь с собою в возрасте сагановских героинь – 35, 40, 45. Ведь у неё они часто таковы: «Bonjour tristesse» («Здравствуй, грусть») Франсуаза написала в девятнадцать, но и там самая трагическая фигура – женщина далеко за тридцать, невежливо говоря, под сорок. «Любите ли вы Брамса?», «Ангел-хранитель», «Немного солнца в холодной воде» – везде она, беспомощная перед юными существами, очень нежная, иногда лгущая, но исключительно от растерянности. Как тонкая рисовая бумага в неумелых руках – вот какая. И в «Сиреневом платье» тот же образ.

Точно помню, как сердце моё рванулось к ней – к Валентине, но на самом деле – к взрослой Ольге, – с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталой, немного лихорадочной и почему-то пьющей водку – вместо романтического вина.

Вот Саган начинает: «Входят Серж и Валентина, ему двадцать пять, ей тридцать семь лет, он несёт чемодан».

Ему 25, ей 37, и это всё объясняет, как водка – сразу в кровь. Помню, цифры сразили меня, хотя что я, шестнадцатилетняя, могла знать о мужчинах моложе себя? Их же просто не существовало в природе. Но я отчего-то хорошо представляла, как это бывает, когда смотришь на юношу, и он будто прозрачен, охваченный страстью, амбициями, надеждами. И будущее – и его, и твоё, и ваше, – прозрачно, но ты отворачиваешься от очевидного, потому что хочется, всё-таки хочется огня. И всё в ваших отношениях построено на обмане. Он лжёт себе, пытаясь поверить, что разница в возрасте между вами несущественна, что совсем скоро он станет зрелым мужчиной, а ты не постареешь никогда, и вы, наконец, сравняетесь. А ты помогаешь ему, садясь спиной к свету, много недоговариваешь, аккуратно корректируя реальность, прячешь лицо в голубые тюльпаны и соглашаешься: «Да, да. Конечно. И я тебя тоже. И я – навсегда».

И кончается все как обычно у Саган – немного солнца, немного скуки, немного жалости и очень, очень много печали.

Прочитав, я отчаянно захотела, во-первых, водки, во-вторых, тюльпанов, а в-третьих, сиреневое платье. Тюльпаны, – правда, красные махровые, – у бабушки как раз расцвели, но водка оказалась ужасно невкусной, а сиреневый совершенно не шел к моим глазам и цвету лица. «Оленька, он тебя убивает, – заявила мама в магазине «Ткани», накинув мне на плечи лиловатый отрез. – Выпускное будем шить розовое. А это для взрослых». А ведь я уже представила платье – из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длин-

ное-длинное. «Что ж, это для Ольги, – думала я, – не для Оленьки. Стану старше, буду сама решать, какие цвета носить».

Потом, конечно, забыла.

Прошло двадцать лет, прежде чем я встретила со своим сиреневым платьем.

Была весна, и я сидела в кафе с молодым мужчиной. Он был уже не юноша, но заметно младше меня, и так же прозрачен для взгляда, охваченный страстью, амбициями и надеждой. Я пересказала ему историю обманщицы Валентины и её сиреневого платья.

– Ведь я тебя тоже обману.

– Я готов. Ну, почти.

– О нет, «почти» не считается.

Мне вдруг стало весело, где-то внутри запела нежная картавая женщина, и её птичий язык сложился в понятные слова, которые я зачем-то произнесла:

– Подари мне сиреневое платье, милый, чтобы я знала, что ты готов принять меня такой, как есть. Подари мне сиреневое платье, когда решишься. Подари мне сиреневое платье, когда полюбишь меня. А я тебя, конечно, обману.

– Подарю.

Потом мы затеяли долгую игру в любовь, со случайными встречами, побегами и возвращениями. Она длилась и длилась, увлекала нас, мы будто танцевали под нежное картавое пение, но я постепенно заметила, что начала ждать. Всё чаще я ждала, когда музыка закончится и произойдёт между нами что-то настоящее, что-то похожее на правду. И что он подарит мне сиреневое платье. Порой он сам вспоминал о нём:

– Я тут присматривал тебе платье, но ни одно тебя не стоит. То слишком дешёвое, то недостаточно сиреневое.

Мне иногда хотелось сказать: да забудь ты этот нелепый разговор, я уже не хочу платье, лучше прими меня, такой, как есть. Лучше полюби. И я тебя, может быть, не обману.

Но я молчала – всё лето, и осень, и зиму.

А к следующей весне слишком часто стала гулять одна, бродила по Тверской, Столешникову, Никольской, заглядывала в витрины – без мысли, просто так.

Однажды увидела на тёмном безликом манекене сиреневое платье – и прошла мимо. Ещё казалось, что есть мужчина, который способен полюбить меня, обманщицу с мелкими морщинками на сухой прозрачной коже, с хрупким горячим телом, всегда чуть усталую, немного лихорадочную, изредка пьющую водку – потому что хочется сразу в кровь.

Но потом мы встретились и не то, чтобы поговорили, но музыка у меня внутри наконец затихла. Только она не сменилась ничем настоящим, просто оказалось, что история окончена, Валентине пора уезжать, а мне даже нечего сказать на прощание.

Я ушла, а на следующий день купила сиреневое платье: из мягкого тусклого шелка, с дюжиной маленьких пуговиц на манжетах, длинное и немного слишком дорогое для меня – самую малость, но я бы не стала его покупать, если бы... Если бы не Оленька, которая так мечтала стать взрослой.

«Добра ли вы честь?»

– Ты не устал? Скоро придём. – Оленька забежала вперёд и заглянула ему в глаза, как маленькая собачка.

Она всегда любила мужчин, с которыми можно почувствовать себя маленькой, но всё-таки хотелось бы казаться девочкой, а не щенком. Только с этим почему-то не получалось сохранить достоинство. Казалось бы: она старше, успешнее, умнее и, пожалуй, талантливее. А в нём был покой, покой и благородство, тёмная царская кровь текла в его венах, а лицо годилось для монет. Звался Роджер – разумеется, кличка. В честь весёлого флага, не потому что отличался жизнерадостностью или чем-нибудь напоминал пирата (ну там алой повязкой или деревянной ногой), а исключительно из-за худого рельефного лица, которое иной раз походило на череп – смотря какой свет, конечно. Оля точно знала, что освещение может многое сделать с человеком, но этого как ни высвечивай – красив. Чаще всего она называла его «ах, Роджер».

Ах, Роджер, какой же ты красивый, ах, Роджер, как я тебе рада, ах, Роджер, а-а-ах, – иногда это звучало чуть насмешливо, как дворовая песенка про пиратов и креолок, но чаще в ее голосе было столько нежности, что пошлость имени исчезала, и оставался только долгий сладкий выдох.

Они подошли к арке, в которой пряталась дверь, ведущая в клуб. Оленька отдала Роджеру здоровенный букет, предназначенный для подарка, и поправила волосы, растрепавшиеся от быстрой ходьбы (чтобы за ним, длинноногим, угнаться, она всю дорогу прибавляла шаг и временами непроизвольно пускалась вприпрыжку, подворачивая каблук). Роджер хотел было открыть дверь, но Оленька остановила его.

– Подожди. Подожди. – Повернулась, посмотрела в лицо очень внимательно. Обежала взглядом безупречный силуэт, снова взглянула в глаза. – Ах, Роджер...

– Какой же ты красивый.

– Да, я знаю. Пойдем уже. – В голосе прозвучало некоторое раздражение.

Он не любил напоминаний о своей красоте, хотя бы потому, что это косвенным образом сводило все его достоинства к внешности. У него было полно талантов, но люди при знакомстве запоминали его не в качестве художника или дизайнера, а исключительно как «того красавчика». Несмотря на то, что с Олей они встретились на профессиональной вечеринке, его представили ей таким тоном, будто он стриптизер или что-то в этом духе.

– А вот Роджер, он тебе понравится...

Да, понравился.

Они были симпатичны друг другу, и к тому же их связывали общие интересы. Оля тоже занималась интерьерами, но заметно успешнее – такой маленькой и хлопотливой женщине почему-то с лёгкостью доверяли и просторные загородные дома, и стильные квартиры, иногда клубы. Время от времени она передавала ему работу, оформление витрин в небольших магазинах, например. Но чаще клиенты настаивали, чтобы именно Оля занималась их заказами, и порой это выглядело просто оскорбительно: они будто смотрели сквозь Роджера и договаривались исключительно с ней. Иногда казалось, что люди условились сделать из него альфонса. Знай своё место, красавчик, мамочка всё уладит.

В конце концов, их отношения не то чтобы испортились, но остыли. При очередном Олином успехе он бодро говорил: «Молодец! А я опять в заднице», – а она столь же бодро отвечала: «Ничего, тебе повезет!», и фальши в этом становилось всё больше и больше.

И вот сейчас они наконец-то отворили неприметную дверь клуба, в который его одного вряд ли пустили бы, и вошли.

Из солнца и пыли они переместились в тёмный душистый воздух. Пряные запахи, пятна цветного света, которые только сгущали тени в углах, подушки, цветы и шелк. Роджер с отвра-

щением подумал, что самые дорогие заведения старательно копируют атмосферу борделей. Но это было, конечно же, несправедливо. Хозяин вложил настоящие деньги и получил именно тот стиль, в котором его душа нуждалась. Оля, будто угадав мысли, обернулась и сказала:

– Опиум, понимаешь? Опиум, а не кокаин.

Речь шла о цепочке ассоциаций, а не о реальных наркотиках, но Роджер почувствовал, как стены чуть дрогнули, а сознание спуталось и поплыло. Может быть, всё дело в музыке – длинные деревянные дудки постанывали, барабаны то звенели, то рассыпались сухим горохом, и какие-то трёхструнные инструменты изредка добавляли мучительную нелогичную ноту. Музыка была ненавязчивой и почему-то сплеталась с запахами, поднимаясь к потолку отчётливыми струями. Роджер потрянул головой, сунул букет под мышку и взял из Олиных рук красное вино, отпил приличный глоток и вернул бокал.

– Пойдём, познакомишься с Анной.

Пока отыскивали именинницу, Оля рассказывала:

– Она одеждой занимается, успешная тётка. Смотри, какой день рождения себе закатила.

Ста-а-арая моя подруга.

– И сколько ей лет, примерно?

– Да ты с ума сошёл, её не вздумай спросить. Взрослая уже, постарше меня. Наверное, сорок или около.

Все они были взрослые в масштабе его двадцати девяти, но Роджера это не беспокоило. Какая разница, сколько человеку лет, если он интересный? Оле за тридцать, но с ней весело. Ну, было весело. Роджер почти не замечал изменений, но, переспав недавно с хорошенькой двадцатилетней девчонкой, вдруг понял, как ему не хватало этой юной тонкорукости, легковерия и восхищённых глаз. Оля тоже иногда так смотрела, но в её взгляде было многовато оценивающего, будто на редкость хорошее мясо перед ней, какое уж тут уважение. Поначалу это заводило, а теперь всё чаще хотелось ясноглазой покорности и чистоты.

А Оленька кружила между гостями, то ли искала, то ли путала следы, вдыхала звуки, слушала запахи, ведя за руку свою длинноногую ускользящую нежность, которую придётся завлечь сейчас в самые дебри и там оставить. Потому что не по силам оказалось кормить это счастье кусками собственного сердца – именно так она думала и чувствовала, слишком красивыми, глупыми словами, которые стучали в ней, просились на уста, но некоторые вещи нельзя произносить.

Вот и кончилась тропинка, вот Анна стоит. Красивая.

– Поздравляю дорогая, это тебе. – Оля посмотрела на Роджера, и он протянул рыжей высокой женщине цветы, которые порядком надоели ему за последние пятнадцать минут.

– Это? – двусмысленно и ласково улыбнулась она.

– Это Роджер, он тебе понравится. Дизайнер, – поспешно прибавила Оленька, поймав его злой взгляд.

– Рада познакомиться, меня зовут Анна. Хотите перекусить? Там еще что-то осталось...

Он кивнул и послушно отступил к столу с причудливой нарядной едой. Оля было устремилась следом, чтобы взять большую тарелку и наполнить ее тартинками, рулетами, крошечной сладкой выпечкой и бисквитными корзинками с клубникой – для него. Но вовремя удержалась.

Женщины взглянули друг на друга и почти хором сказали: «Отлично выглядишь!» Рассмеялись.

– Как ты?

– Ты как?

Опять засмеялись и слегка обнялись.

– Ладно, расскажи про него. Идиотское имя.

Оленька почуяла острый коричный запах её духов.

– Говорю же, дизигнер. Двадцать девять. *И поцелуй его горьки, как дым. Работы мало, женщин много. Очень много, Аннушка, и слишком юных, чтобы сердце моё не болело.*

– И вы с ним...

– Ну, было дело. *Как будто солнечные драконы раскрывают крылья, когда он склоняется надо мной.*

– А теперь?

– Считай его подарком. *Княжеским. «Добра ли вы честь?»*

– Чего-то здесь нечисто. Я тебя знаю, просто так из рук не выпустишь. Порченный какой, не иначе, жеребец троянский?

– А-а-аннушка-а... за кого ты меня принимаешь? Дерьма не держим. Но у меня осенью куча выставок – Дортмунд, Мадрид, заказов несколько. До зимы некогда вздохнуть, а с мальчиками возиться надо. Проще отдать в хорошие руки. *Десять лет прошло, а я помню, а ты? Помнишь Игоря – простое имя, незаметное лицо, а я отчего-то любила. Тогда ты сама забрала, без спроса. Теперь твоя очередь носить мою боль, баюкать по ночам, прикладывать к груди.*

– Маленькая ты сучка. – Анна сказала так нежно, что обидеться было невозможно.

– Вот и заботься о ближних! – Оленька помолчала, чтобы следующие слова прозвучали весомо. – Аннушка, я бы очень хотела для тебя счастья. *Такого же счастья, как у меня, Аннушка. Я всякий раз плачу, когда он уходит. Потом возвращается, и я смываю чужие запахи с его волос. Дарю ему шелковые платки – он не понимает их цены, – завязываю ими его глаза во время любви, а в следующий раз замечаю на них чью-то помаду.*

– Спасибо, Олюш. – Анна снова обняла её, теперь почти совсем искренне.

Они посмотрели на него, как две взрослые кошки.

– Правда, хорош? *Вот сейчас я вижу, как он нагибается над этой дурацкой тарелкой, и сердце мое разрывается. Я хотела бы скормить ему свою жизнь. Чтобы он бродил по моему дому, невозможно красивый, босой. Уходил, когда захочет, – лишь бы только возвращался. Ни о чем не спрашивать, только смотреть. Но однажды он не вернется.*

– Очень. Я оценила, хотя мне сейчас тоже не до мужиков. – Но глаза Анны стали сладкими, как инжир.

Оленька покивала и отошла, побрела по тропинке, и птицы за её спиной клевали крошки, по которым можно было бы вернуться назад. Звуки плели душистые сети, запахи шептались и жаловались, но она уходила. И только у самой двери ее на мгновение задержали.

– С кем это наша новорождённая флиртует? – спросила какая-то женщина в скользком золотистом платье.

Оленька обернулась.

Они стояли очень близко, лицом к лицу, её губы были около его шеи, она что-то шептала, прикрыв глаза, а он слушал, изредка отпивая из бокала.

– Это Роджер, ему двадцать девять, и поцелуй его горьки, как дым.

А потом она ушла.

Щенок

Это в пятницу было. Оля возвращалась домой страшно довольная. На работе случился день рождения фирмы, некруглый, три года, поэтому корпоратив устраивать не стали, но сотрудникам дали немножко денег, подарки, и отпустили в пять. Оля всем сердцем любила подарочки, неважно, сколько они стоили, и какое значение в них вкладывал дающий – от души или так. Просто – не было вещи, а теперь есть, сюрприз и маленькая прибыль. Она забавлялась собственной детской алчностью, но бороться и не думала: такой грех – не грех, нужно в главном порядочной быть, а не по пустякам к себе придирается.

А в главном она, Оля, неплохая – хороший редактор, честная жена любимого мужа и нежная мать для капризной белой кошечки. К тридцати шести годам выглядела так, что тётки на работе завидовали – на нежном круглом лице почти не было морщинок, и тело лёгкое, девичье. «Добрый нрав и высокий образ мыслей» – слегка перевернула она Цицерона, но мало кто мог узнать цитату.

И сегодня она шла и радовалась тёплой ранней осени, низкому золотому солнцу, своему новому стильному пальто и общей благодати, разлитой в воздухе.

А навстречу ей брёл мужик, совершеннейший архетипический пьяница, каких двадцать лет назад рисовали в «Крокодиле» – расхристанный, краснорожий и с бутылкой пива в кулаке. И песню пел: «Когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой дру...» И тут они друг друга видят, и у обоих мгновенно портится настроение. Прямо в лицо оба переменились. Он не стерпел первым: «Ну чё ты вся в чёрном, как цыганка?!» А Оля такая, с готовностью: «А не твоё дело, лучше вести себя прилично научись!» Он аж задохнулся и присел слегка: «Прили...? Да я... да я бы давно президентом был, если б себя прилично вёл! “При-лич-но”, а?!» Ну и там ещё что-то, слушать не стала.

Неизвестно, как он, а Оля засмеялась только когда за угол завернула, не раньше. Ну не любила она пьяных. Много прощала людям, а при виде алкашей почему-то поднималась из сердца тяжёлая ледяная злоба и кулаки сжимались так, что на ладонях отпечатывались два полукруглых следа от ногтей, среднего и безымянного. И было потом нехорошо от себя такой.

Но к подъезду уже повеселела, открыла дверь, с порога попыталась обнять кошку, но та отскочила – неласковая была, встречать приходила, а в руки не давалась.

Первым делом Оля перекусила, потому что из-за короткого дня на обед не ходили, и есть хотелось со страшной силой. Сделала омлет с сыром, маринованным огурчиком заела и соком запила. Синим. Ну, это она его так называла, потому что любила сок из синих ягод – черники, смородины, чёрной рябины, – и для краткости мужу говорила: «Синего купи». А так он вообще тёмно-бордовый, конечно.

И всё время, пока готовила и ела, теплилась у неё внутри маленькая радость. Сначала даже не сообразила, отчего. Иногда такая случается, когда в другой комнате книжка особенная тебя ждёт, интересная и нетрудная. Но в этот раз другое было – подарочек. На кровати пакет, в пакете коробка, а там игрушка. Собачка мягкая, щенок, к нему подстилка такая, вроде лукошка. На работе Оля мельком взглянула, но рассматривать не стала, до дома сберегла.

И вот она открыла коробку и услышала тарахтенье. Она урчит, оказывается, собачка-то, просто неслышно было в шуме. А дома тихо. На мгновение Оле стало неприятно: имитация жизни, нездоровое что-то. Но это было глупое чувство, поэтому Оля положила щенка на колени и обрадовалась – ведь это для покоя и релаксации придумали, ты сидишь, а он у тебя урчит. От кошки не дождёшься, не идёт на ручки, а тут почти настоящий сенбернарчик, нетёпленький только. Она опустила ладонь на рыжую пушистую спину и по-настоящему испугалась, потому что щенок дышал. Круглый его бок вздымался и опадал, толкал в руку, и было это так... физиологично, что стало нехорошо.

Но глупо же, глупо – игрушка, вещь, подарок. Погладить, расслабиться. Интересно, надолго у него батареек хватает?

В левом виске завелась крошечная боль и стала расти, расплываясь к глазу и горлу. Надо было не голодать до дома, а поесть в «Му-му» по дороге, вот дура-то. Хотя, может, от мерного тарактения поплохело, вполне вероятно. Оля перевернула щенка брюхом кверху, хотела вытащить батарейки, но это было бы как убить. Нет, ну правда, он замолчит и перестанет дышать – как это ещё назвать? И хотелось мужу показать такую прелесть, а он только через час придёт. Можно потерпеть, взрослая уже.

Она прижала щенка к себе, и дышащий бок ошутимо толкнул в живот. И ещё раз, и ещё.

Оля сжалась, отбросила щенка на кровать, потом снова схватила и попыталась открыть отсек с батарейками. Он заперся на маленький шурупчик, и Оля, ломая ногти, стала откручивать, откручивать – открутила, вытряхнула на кровать одну здоровую толстую батарею (щенок продолжал тарактеть и дышать), потом вторую – и он умер.

Она выпустила его из рук и помчалась в ванную и склонилась над раковиной. Её вырвало. Сквозь слёзы и боль она на секунду удивилась – чего это зелёное? А-а, огурчики... – Но тут её снова накрыло. Боль и отчаянье. Потому что она вспомнила.

Она вспомнила, как это бывает, когда тебя точно так же толкает в живот, но изнутри. Примерно на восьмом месяце, когда он там переворачивается, мастится, и то локтём пихнёт, то коленкой. Вниз головой он в самом конце устраивается, когда рожать, а сначала подолгу крутится, и попой, и поперёк, и по-всякому.

Она вспомнила, как ровно полжизни назад её вот так толкало изнутри, а она шла осторожно по ледяной дороге, береглась, одной рукой за живот держалась, а второй для равновесия помахивала. Ноябрь был, то мороз, то оттепель, то снова мороз. Рожать ей только к Новому году, но живот уже вырос на тонком теле совсем огромный, и муж обзывал её гвоздём пузатым – смешно, но необходимо. И она как раз подходила к дому, когда из-за угла выскочил мужик. Она испугаться не успела, когда её отшвырнуло. Он не со зла, дурак пьяный, но ей хватило. Дальше она почти не помнит, восемнадцать лет прошло – она другая, муж другой, другой город, другая жизнь. Но сейчас вдруг, не то что в одночасье, а в единственное мгновение, она вспомнила.

Блестящую каталку, мелькание серых потолков, врачей, «преждевременные, быстро», тихое гудение аппаратуры, ну и всякое «тужься-не тужься, дыши-не дыши», и как инструменты гремят в тазике. Тяжело, смутно, но главное было вот что...

Когда она последний раз напряглась, так что аж глаза заболели («не тем тужишься, девка, не головой надо, да осторожно, порвёшься же»), когда она всё-таки вытолкнула его. Когда по всем правилам (она точно знала – и в кино видела, и в фильмах учебных, пока на подготовительные курсы ходила, ещё на шестом месяце) он должен был закричать, он не закричал. Тихо было.

И тогда закричала Оля.

Щёлкнул замок, она быстро сполоснула глаза и рот, вытерла лицо и повернулась к двери.

– Целоваться не будем, меня тошнило, я ещё зубы не чистила, пахнет.

– Заболела, ласточка?

– Да ты знаешь, не поела вовремя сдуру, голова разболелась.

– Ну вечно ты, нельзя же... А что это там такое интересное набросано?

– А это собачку мне подарили, она тарактит и дышит. Только не включай, не включай, у меня голова от неё хуже болит.

– Кто подарил-то, поклонник, поди?

– Ну конечно. На работе в честь трёхлетия.

– Знаю я тебя. Ладно, пусть он тут на полке сидит.

– У него ещё подстилка есть...

– Да вон, посмотри, она уже при деле.

Оля с некоторой опаской повернулась.

В лукошке, свернувшись и свесив хвост, лежала их нахальная белая кошечка и поглядывала спокойно, как будто всегда здесь была.

Мустангер

– Морис-мустангер, ты покори́л сердце креолки!
Боже мой, Боже мой! Он слишком похож на Люцифера, могу ли я презирать его!
Майн Рид. Всадник без головы

Впервые Кира увидела его четырнадцатого февраля, в День Всех Влюблённых. Конечно, это был знак. И сама встреча их состоялась таким образом, что сомнений не оставалось. Нет, вы сами посудите.

Она в серебристой шубке шла по Тверской, подставляла горячие щеки крупным снежинкам, встряхивала длинными русыми кудрями – было чуть ниже нуля, как раз такая удачная погода, что шапку уже можно не надевать, а меха снимать ещё рано. Ни сырости, ни ветра, ни мороза, а только пухлый, как в кино, снежок-пороша, который так красиво блестит на волосах, что каждый второй обернётся вслед и скажет: «Снегурочка!» Кира на улице не знакомилась, а тем более на Тверской, поэтому на заигрывания не отвечала, гордо шла к Пушкинской площади, ни на кого не глядя. Смотрела только на яркие витрины и разноцветные фонарики, которыми город сиял и отражался в ее глазах, тоже по-своему заигрывая.

«Пушкинская» переливалась огнями, как никогда. Кроме обычной иллюминации, у памятника собрались файеры, крутили пылающие шарики на цепочках, выдыхали пламя, запускали ракеты, которые рассыпались в небе золотом. Тут же сидели музыканты и колотили в барабаны, как черти.

Совсем рядом разорвалась петарда, и оглушённая Кира остановилась. Из копоти вынырнул парень и счастливым голосом спросил:

– Круто?

– Очень, – холодно ответила Кира.

Он напугал её и мог испачкать.

– Не обижайся, принцесса, я сделал всё это ради тебя! – Парень повернулся к толпе и крикнул: – Я люблю эту девушку! Вы слышали?

– Ура! – завопила вся площадь.

Конечно, он псих. Но до чего же красиво это было! Позже Боб рассказал, что решил устроить праздник для первой встречной. Собрал знакомых «факиров», по дешёвке прикупил китайских хлопушек, прямо на площади зацепил дредатых барабанщиков и стал поджидать девушку, которая будет одна в День Влюблённых. Он обожал делать маленькие подарки незнакомым, и работа волшебника удавалась ему лучше, чем любое другое занятие. Вот что простое сделать для себя, так это вряд ли – скучно, а сотворить чудо кому чужому – легко.

– Я увеличиваю количество добра в мире, – говорил он ей в тот же вечер в захламленной однушке на окраине.

Они сидели на кухне на маленьком низком топчане и пили чай. В комнате спали ребята из Питера, те самые музыканты, он впустил их переночевать – бродячий народ приходил часто, лишний матрас и спальные дома были.

Боб готовил чай очень сложно, смешивал травы и пряности из разных коробочек, переливая воду, что-то шептал, будто договаривался с заваркой. И надо сказать, и травы, и предметы его слушали. Чай приобретал особенный вкус, а самые простые вещи расцветали в его пальцах. Волшебные пиалы из исиньской глины, волшебная палочка, чтобы помешивать заварку, волшебная трубка для волшебного табака, волшебный кристалл, который дробил реальность на множество волшебных частей. Не было только волшебной еды, да и обыкновенной тоже не было, но гости притащили с собой какие-то пряники. Но Кира просто не могла есть.

Она смотрела во все глаза на этого человека и его дом. На разрисованные стены, на душистые свечи, на гору окурков и пепла в огромном медном блюде, на пёстрые занавеси вместо дверей, на грязную посуду в раковине, на него. Она не могла понять, что тут хорошо, а что плохо, что стоило бы отмыть или вообще выбросить, а чему, наоборот, цены не было. Впрочем, нет, про самого Боба она поняла сразу.

Они говорили всю ночь, точнее, говорил он. Рассказывал обо всем сразу: о ритме, который поднимается из глубин Земли, раскачивая реальность; о волнах энергии, которые можно поймать и оседлать; о тонких мирах, проникающих сквозь дыры в наш грубый материальный мир. О том, что есть способы уйти далеко и есть способы вернуться. Как возвращать потерянных странников и потерянные вещи. Как умирают животные и как умирают люди. Как лечат и как убивают. Как узнать суть предмета и как спрятать очевидное. О снах, о приходах, о духовных практиках. О ней. Он знал её сердце, страхи, надежды, самообманы. Знал, где болит, – погладил пальцами висок: «Вот здесь».

Кира задержала его руку, прижала к щеке, поцеловала в ладонь. Больше ничего между ними в ту ночь не было.

На следующий вечер она снова пришла, позвонила в дверь. Дом его был пуст и чист. «Я ждал тебя», – говорит. А больше ничего не сказал. Вчера, когда все праздновали день любви, у них было время слов, а сегодня пришло время танцевать. Его музыка, как и его чай, сделана из трав, звука воды, постукивания палочкой по чаше, по медному блюду; из душистого дыма, из огня. Вчера она смотрела – на худое вдохновенное лицо, тонкие пальцы, на длинные темные волосы. Ловила его косой жаркий взгляд, блеск белых зубов между темных губ. Сегодня пришло время закрыть глаза и прикоснуться. С ней танцевали его прохладные пальцы, лёгкие волосы, горячие губы, острые зубы. И она танцевала с ним пальцами, волосами и губами. Будто не люди они были, а демоны.

Через много часов она нашла себя на полу, на чёрной шкуре какого-то мёртвого зверя, а живой зверь плескался в ванной, фыркал, как конь, что-то напевал. Вышел, вытираясь, посмотрел на неё, расхохотался, запрокинув голову; обнял, закурил, отпил из чашки остывшего чая – сделал сразу множество движений сотней своих рук, тысячью уст. А она всё смотрела и глупо думала: «Надо же, демон, а чай пьёт». Потом он проголодался, и она побежала куда-то за едой, всё думая, а можно ли ему обыкновенное мясо? А хлеб? А сыр, а красное вино? Чем же его, такого, кормить?

Оказалось, он почти всё ест, даже странно.

Потянулись удивительные ночи, протяжные, как послезвучие гонга, в который ударил на далёкой горе бритоголовый монах. Днём Кира уходила, ведь у неё ещё оставалась какая-то сомнительная жизнь за пределами этого чудесного дома, дела, приносившие деньги, тридцать никчёмных предыдущих лет, от которых она медленно освобождалась по вечерам, возвращаясь к Бобу. Там часто были гости, приносившие еду и чай, те, кому негде ночевать, и те, кому нечем жить. Боб принимал всё и всех, делился собою так щедро, что у Киры сжималось сердце – а ну как разорят, растащат огромную душу все эти люди. Но он никогда не кончался, как вода в светлом озере. Они называли его то Борис, то Бобушка, каждый находил ему своё имя, а для неё он стал Мастер Бо, как у Гребенщикова.

Она никогда не знала будут они сегодня разговаривать или танцевать. И в том, и в другом была для неё сладость и тайна. Сладость и тайна в этом доме жила во всём, даже в том, чтобы мыть посуду и стирать его рубашки – в этом как раз особенная сладость...

Когда первый раз увидела, как он танцует с другой женщиной, заплакала. Она теперь часто плакала – от любви, от внезапно наступившей ясности, но эти слезы оказались горькими, как перец. Он услышал, пришёл на кухню и забрал её к себе, в музыку, в ясность. Потом говорил: «Не ревнуй. Нет боли, нет ревности, нет границ, когда демоны любят. Это тела слабы, а

души свободны, соединяются сколько хотят – и две, и три, и пять душ могут слиться и сделать друг друга сильнее».

Она верила, кивала. А тело его всё-таки любила и хотела ему добра. Купила перчатки, когда увидела, как на морозе краснеют бесценные руки. Приносила что-то материальное, жалкое, складывала к его ногам, потому что сама была такая же жалкая, телесная, не умела жить одной душой. Но честно старалась научиться.

Мастер Бо поехал в Киев на несколько дней, она, было, рванулась за ним, но дела не отпустили. Стала ждать. В первый вечер пошла к подруге, та беременная была, шестой месяц дохаживала. Раньше Кира к ней часто заезжала, а тут пропала. Сели чайку попить, поболтать. Но чай казался безвкусным, а разговор получился плоский, как у глухих. Кира ей: «энергия, ритм», а она: «шевелится, переворачивается». Кира ей: «душа, тонкий мир», а она: «на УЗИ пальчики видно». Потом говорит: «У тебя появился кто?» И тут Кира рассказала – про силу, про сладость, про свободу. А она спрашивает: «А работает где? Сколько получает?» Ну как объяснить, где демоны деньги берут? Ушла.

Дома покормила кота и спать легла. Кот смотрит странно – она его, конечно, не забывала, раз в день обязательно появлялась, заботилась, но это было не то, что раньше, конечно. Свернулся у неё на подушке, затархтел.

Утром Кира проснулась от грохота. Как будто забили божьи барабаны и небо упало. Только в ухе при этом почему-то щекоotalo. Сунула ватную палочку, посмотрела, а там блошка чёрная, с кота прибежала, видимо. Где он их только берёт, сидя-то дома. Посмеялась, но Бо эсэмэску отправила: «Проснулись барабаны Бога» – пусть думает... Надо бы, кстати, ему денег на телефон кинуть, а то вечно кончаются.

А на следующий день у Киры началась аллергия. Думала, от тоски чешется, но по шее и по лбу пошли красные пятна, и Кира испугалась. Помчалась к дерматологу, в ближайший КВД, по дороге молилась: «Только бы не от нервов, не псориаз какой, его же не вылечишь. И только бы не краснуха – я же к Ленке беременной ходила! Уж тогда пусть лучше нервное, от краснухи-то дети мёртвые рождаются». Влетела к врачу в своих серебристых мехах (еще февраль не кончился) перепуганная, бледная. Показала сыпь и голову, где чешется. Не краснуха?! Врачиха говорит: «Сядьте, дамочка. Сейчас рецепт выпишу. Вот вам антипедикулезное, с вас пятьсот рублей».

Анти-пе-ди... это ж от вшей?! Ну да, говорит, у вас там их стада, и гниды ещё. Вы не волнуйтесь, в наше время у всех бывает, не только у бомжей.

Киру трясло от стыда и отвращения. От одной мысли, что по ней бегают десятки маленьких лапок, накатывала паника. Казалось, что человек, стоящий позади в аптечной очереди, сейчас увидит среди её русых волос чёрную вошь и закричит, и опозорит. Хотя куда уж больше позора...

Дома, едва раздевшись, намазала на голову дрянь из тюбика, побросала одежду в машинку. Потом целые сутки отмывала и отстирывала всё в доме, что нельзя стирать – выбросила, чего нельзя выкинуть – обработала спреем специальным, завязала в пакеты и спрятала на антресоли, через месяц там все должны передохнуть. А шубку в химчистку сдала. К вечеру опомнилась, позвонила подруге, повинилась:

– Лен, ведь я тебе вшей могла принести. Тебе, беременной, некстати.

– Не бойсь, Кир, мустанги никому некстати, но ты мне точно не успела присадить – сбегала как ошпаренная через пятнадцать минут. Я вымою всё, конечно. А ты волосы потом уксусом прополощи, от него гниды легче отходят.

– Как ты сказала – мустанги?

– Ну да, мы так в детстве называли. Они ж скачут. Я раньше, когда тусовалась много, «стопом» ездила, вписывалась где ни попадя, всё время цепляла. Тогда все цепляли. Мазали уж не помню чем, а парни просто головы брили.

- Лен, мне так стыдно чего-то...
- Ну ты же принцесса у нас... Да ерунда всё это. Ты вот что, демона своего продезинфицируй. Ведь от него нахваталась, сто пудов.
- Лен, ну как я ему скажу... Он такой... а я такая – «у меня вши».
- Балда, это у него вши. Одной лечиться бесполезно, так и будут по вам скакать, с одного на другого. И бомжатник весь его вычисти.
- Ну... ну ладно.

К счастью, Мастер Бо вернулся в Москву только через два дня. Было как раз первое марта. Кира в последний раз намазалась, чем положено, и на следующий день поехала к нему. По дороге зашла в аптеку, купила лекарство. Волновалась страшно, всё думала, как начать, что сказать. Но когда он открыл дверь, поняла, что говорить ничего не надо – Мастер Бо был наголо выбрит. Она посмотрела на его большие нежные уши и умилилась. Такой мальчишка без волос, сразу заметно, что даже чуть моложе её. Зашла – в доме чистота... Не стала ни о чем спрашивать, пусть сам расскажет. Она ему тогда ответит: «Мустанги – ерунда! У меня тоже», и вместе они посмеются.

Нет, посмеяться не получилось. Он сказал, что отметил таким образом приход весны, решил совершить акт инсоляции, открыться лучам просыпающегося светила...

А она слушала и думала: «Надо же – врёт. Демон – и врёт. Значит, пусть лучше меня вши жрут, чем признаться. Демон ты мой ушастый...» Вдруг её охватила усталость и печаль. Она встала, поцеловала Бо в лоб и сказала: «Знаешь, милый, я тебя недостойна. Ты демон, а у меня вши. Я больше не приду».

И ушла.

Приехала к Ленке, смеясь, стала рассказывать:

– Лен, ну ты представь. Сидит лысый, уши торчат, про инсоляцию мне заливают, врёт и не краснеет. Деемон... – расхохоталась, задыхаясь, повторяла: – Му... муууустангер он, а не демон... барабаны бо... бога...

Не могла остановиться, давилась водой из чашки, плакала. Очень долго плакала, Ленка её утешала, а она всё не могла остановиться, потому что вспоминала, как читала в четырнадцать лет про Мориса Джеральда, гордеца окаянного, мустангера:

«– Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни пришел, куда бы ни лежал твой путь и кем бы ты ни стал, с этих пор у нас одна судьба! Я чувствую это – я знаю это так же ясно, как вижу небо над собой!»

Тогда читала и думала, что у нее так же будет, даже наизусть слова выучила.

Теперь показалось, что ее собственная судьба солгала, под звуки небесного барабана проскакала мимо. На мустанге.

Конфетки из «Эдема»

Алиночка решила завести любовника. Что ж, дело женское, бывает. Одна беда – Алиночка уже восьмой год замужем, и разводиться не собиралась. Это тоже не редкость, когда крепкие в общем-то парочки начинают глядеть в разные стороны в поисках новых впечатлений. И всегда найдутся желающие в этом деле помочь – такие же заскучавшие в браке супруги.

– Это взрослые отношения, – объясняла Алиночка подруге. – Пока мы были юные и свободные, влюблялись, головы теряли, трепетали. А теперь просто находишь подходящего мужчину и как-то легко, слово за слово, с ним обо всём договариваешься. Без придыханий.

– И кого же ты себе подыскала? – поинтересовалась Кира. Она мужа не имела, но измены не очень-то одобряла, хотя из дружеской солидарности старалась не осуждать.

– Ну... есть один. Тоже женатый. Это же хорошо, гарантия, что не будет дёргаться и рушить мою семью, если что.

– Тебе, чтобы семью разрушить, помощники не нужны. Ладно-ладно, молчу-молчу.

В следующий раз они встретились в кафе через пару недель. Алиночка так и светилась от восторга:

– Мы сделали это! И ты не представляешь...

– Куда мне. Слушай, меня всегда технический вопрос занимал: где в нашем городе женатые люди предаются греху?

– Будешь смеяться, в «Эдеме». Есть такая сеть отельчиков на час...

– Настоящая взрослая жизнь, по борделям шляться. И как там? Не противно?

– Да чистенько всё, – обиделась Алиночка, – и конфеты дают.

В тесных номерах, почти всё пространство которых занимали огромные кровати, гостей ждал сюрприз: вино и коробка шоколадных конфет.

– И представь, на коробке логотип этого «Эдема» – палево же!

– А хоть вкусные?

– Ну... смотря когда есть, до секса или после. Если до – так себе, а после – слаще не бывает. А хочешь, я тебе в следующий раз попробовать принесу? Для расширения кругозора?

В пятницу Кира услышала в трубке взволнованный голос:

– Приходи скорее в нашу кофейню на углу! Я только что от него... с конфетами!

– А завтра нельзя?

– Да ты с ума сошла, не домой же я их понесу.

И Кира получила в подарок коробку с целующейся парочкой и номером телефона «прियота любви».

Через три дня Кира позвонила Алиночке и, смеясь, сказала:

– А ты мне чуть личную жизнь не поломала. Приходил вчера бойфренд, конфеты твои увидел.

– О боже, а ты чего?

– Да ничего, говорю, ты не поверишь, но подруга принесла. А он отвечает: «Отчего же, поверю. Ты не из тех, кто по таким местам ходит». Даже обидно стало.

– Ты с ума сошла, мог бы скандал учинить и уйти. А конфетки-то понравились?

– Если бы не поверил, туда ему и дорога. А конфетки... со вкусом адюльтера. Приторные очень.

Алиночка продолжала постигать прелести взрослой жизни, и через месяц на подоконнике у Киры выросла небольшая стопка «сувениров».

Осень кончалась, и в последнюю пятницу октября подруги снова встретились в любимой кофейне.

– Не пойду я к нему, хватит, – Алиночке было зябко, она куталась в шаль. – Наигралась и противно стало, будто сладкого переела, варенья или краденых карамелек. Так что конфеток из «Эдема» больше не будет.

– А больше и не надо, – Кира закурила. – Поссорились мы с бойфрендом. Приехал ко мне в очередной раз и, пока я цветы в вазу ставила, он на кухню зашёл. И слышу, заглянул, покрутился. А потом тишина такая, знаешь... тишина, а потом сразу грохот. Он взял и табуретку о стену расколотил. Я захожу, ничего не спросила, вижу, он на коробки твои смотрит. Помолчал, повернулся и ушёл.

– И ты его не остановила, дура?

– Не-а. Мы, в общем, и не любили друг друга. А по-взрослому, как ты говоришь, без придыханий, мне не хотелось. Слишком приторно и липко получается.

Коктейль «Русская любовница»

Что может быть интереснее, чем отметить день Святого Валентина в Лондоне, если в детстве ты читала Диккенса и смеялась над анонимными поздравлениями Сэма Уэллера, адресованными горничной Мэри? Купить старую открытку на Портобелло и настоящее английское сердечко с пчёлкой, а ещё получить свою самую главную «валентинку» от юноши по имени Майкл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.